

XVIII

3 сентября. Вести о Седане [136]

Собравшись группой в несколько человек, мы обошли редакции газет буржуазной оппозиции, где за последние дни уже происходили какие-то тайные совещания, на которые, конечно, не были допущены нарушители порядка, вроде меня.

Я хорош только с истинными революционерами и терпеть не могу жрецов, чьи символы веры я так беспощадно высмеял и которые не могут простить мне моей статьи о Пятерке.

Но сегодня делегаты имеют право врываться во все двери с либеральными вывесками.

Впрочем, перед важностью событий стушевываются все разногласия, и доктринеры в погоне за людьми дела домогаются сейчас даже тех, кого они еще недавно считали опасными крикунами.

Когда безмолвствуют и колеблются полки, крикуны – это клад. Только недисциплинированные могут сломить дисциплину.

Ими воспользуются, а потом, назавтра, – когда они вырвут ружья из рук солдат или заставят их опустить штыки – они будут поставлены к стенке и расстреляны.

Я прекрасно знаю, что нас ожидает!..

Среди всеобщей неразберихи, при первом же известии о готовящейся манифестации или назревшем протесте, все они стараются наладить отношения и обмениваются рукопожатиями и поклонами.

Распоряжение дано.

«К одиннадцати часам собраться в кафе Гарен, с той стороны, где вход для дам, – тсс! Это – чтобы сбить с толку полицию!» Там будет оглашена республиканская прокламация. В полночь она будет напечатана, и каждый захватит с собой несколько экземпляров... чтобы расклеить их по улицам.

Вот о чем шушукаются сторонники якобинских листков и что заставляет меня поскорее удрать от них.

Нет уж, занимайтесь этим сами!

А я смешаюсь с толпой, брошусь в самую гущу ее.

Эй, где там стычка, где еще не оформившееся смятение, где отвага, ищущая вождя?..

Десять часов вечера

Неподалеку от театра Жимназ небольшая толпа напала на полицейский пост.

Эти не ждали полуночи; они не знали, что на стенах должен быть расклеен какой-то циркуляр. Они сами – живая прокламация, расклеившая себя на виду у опасности.

Полицейские уже пытались разорвать ее своими саблями, а пули только что поставили на ней свой штампель.

Кто-то выстрелил.

Метили в Пилеса, и он ответил. Выстрел за выстрел. Убили одного из наших. Он убил одного из них.

Это хорошо!

Бегу туда, но людской поток захлестывает меня и уносит в своем течении к Бурбонскому дворцу.

Есть ли кто-нибудь из популярных лиц во главе?

Никого!

Впрочем, трудно что-нибудь различить в этом приливе и отливе; напор всяких случайностей ломает и спутывает ряды людей, подобно тому как катит и смешивает морская волна гальку на песчаной отмели.

Многие узнали меня.

– Вы разве не на совещании депутатов, Вентра?

– Как видите! Я не нуждаюсь ни в их советах, ни в разрешении, для того чтобы кричать: «Да здравствует Республика, долой Наполеона!»

– Тсс! Тише! Не бунтуйте!..

– Не бунтовать?.. Но ведь я так это люблю!

– Наши представители должны принять нас у входа в Законодательный корпус и дать нам инструкции. До тех пор – молчок!

Вечно ожидать, пока генеральные штабы высидят свои инструкции.

Неужели окружающие меня думают, что если они будут молчать, то войска и полиция станут церемониться с ними? Пусть даже они проглотят свои языки, – им все равно перережут глотку, если только власть чувствует себя еще достаточно сильной, чтобы пойти на это.

Кричать «да здравствует Республика», – но ведь этим, товарищи, можно только сохранить свою шкуру! Если восстание имеет лозунг и знамя, уже побывавшее в боях, – оно на полпути к победе. Когда перед ружьями встает идея, – они начинают дрожать в руках солдат, которые ясно видят, что офицеры колеблются подать своей шпагой сигнал к избиению.

Эти носители эполет чувствуют, что на них смотрит история.

Час ночи

На площади Согласия я подошел к группе людей, во весь голос призывавших к восстанию.

Как поступили другие? Добрались ли они до Палаты, видели ли депутатов? – Ничего не знаю.

Одно несомненно: толпа все время дробится, делится на мелкие части.

Змея извивается в ночной тиши. Усталость рвет ее на куски, но они не перестают трепетать. Двое или трое окровавлены; есть несколько раненых смельчаков: они нападали в одиночку, когда в начале вечера полиция еще осмеливалась показывать свой нос и стрелять.

Ночь свежа; с безмятежного ясного неба на землю льется покой.

4 сентября [137]. Девять часов вечера

Вот уже шесть часов, как у нас Республика, «Республика мира и согласия». Мне хотелось провозгласить ее социалистической, я высоко поднял свою шляпу, но мне нахлобучили ее на нос и заткнули глотку.

– Рано!.. Пусть еще овца поплачет! Для начала пусть будет просто «республика»... И птица ведь не сразу гнездо вьет! Тише едешь, дальше будешь... Не забывайте, что близко враг,

что пруссаки смотрят на нас!

Я даю овце поплакать, но мне кажется, что, с тех пор как я живу на свете, она только и знает, эта овца, что рыдает передо мной, и я вечно вынужден ждать, когда она кончит.

Ну что ж, плачь, плачь!.. Лишь бы только и мне дали пролить слезу... В этом я уже менее уверен.

Итак, у нас Республика? Скажите на милость!

Однако, когда я хотел войти в ратушу, мне преградили путь прикладом ружья, а когда я назвал себя, то начальник поста раскричался:

- Этого мерзавца в особенности не смейте пропускать! Вы знаете, что он только что говорил? «Нужно выбросить в окно это картонное правительство и провозгласить революцию!»

Неужели я сказал это?.. Возможно. Только, во всяком случае, не в таких выражениях.

Конечно, я не полез на скамью, чтобы шикать на социальную республику; но если она высунет свой нос, то я, уж конечно, не откажусь помочь ей выбросить в окно всех этих депутатишек, не запретив им, впрочем, подстлать внизу тюфячки, чтобы они не сделали себе бобо.

Во многих местах хватали полицейских и избивали их. Какие-то буржуа, благопристойные на вид, совершенно спокойно советовали побросать их в Сену. Но блузники не очень уж нажимали на них, и достаточно было напомнить им о женах и детях этих полицейских, чтобы они выпустили свою добычу.

Я помог – без особых усилий – освобождению двух полицейских чиновников. Они были в новеньких с иголочки мундирах и уверяли меня, отряхиваясь и поправляя свой пробор, что они всегда были республиканцами и передовыми до чертиков!

- Мы, может быть, добиваемся даже еще большего, чем вы, сударь.

Чем я?.. Ну, я-то не очень многого добился пока что. В этом столпотворении я потерял шляпу, да и голос тоже, крича во все горло: «Долой империю!»

Я надорвал легкие, истощил свои силы, не могу ни говорить, ни двигаться и в этот вечер триумфа чувствую себя таким же усталым, как и в вечер поражения, девятнадцать лет назад.

И так всегда: охрипший и измученный, я подвергаюсь угрозам и оскорблениям в дни, когда Республика воскресает, точно так же, как и в дни, когда ее хватают за горло.

Но на что мне жаловаться?.. Разве депутаты Парижа не находятся в ратуше... конечно, предварительно чуть было не провалив движения!

Самым низким трусом оказался Гамбетта. Жюлю Фавру пришлось приглашать его, да и то еще он явился не сразу, этот мелкотравчатый Дантон.

В конце концов он все-таки решился. Они битком набились в экипажи, и по пути все сидящие внутри поделили между собой роли. Тот, кто сидел на козлах рядом с кучером, оказался обделенным; ему оставили одни отбросы.

По дороге какой-то человек пытался напасть на один из экипажей. На него накинулись с криками:

– Долой бонапартистов!

– Я официант из кафе, – отбивался он. – Вот эти двое, что сидят в карете, не заплатили мне за сигары и не рассчитались за выпитое.

Поднялся смех. Но двое или трое субъектов из свиты с внешностью классных надзирателей чуть было не сыграли с ним плохую шутку, заявив, что Батист порочит правительство.

Батист моментально дал отпор.

– Если они не хотят платить мне за сигары, то пусть по крайней мере дадут какое-нибудь местечко!

Ты получишь его, но смотри не опоздай! Все места будут заняты; раздел добычи, начатый на рысях, мчится галопом, подстегиваемый жадностью и честолюбием.

Добрый простой народ услужливо подсаживает на своих плечах всю эту свору политиканов, которые после декабря 51-го года ждали только случая, чтобы вернуться к общественному пирогу и снова получать хорошие оклады и чины.

Они торжественно выступают в зале Сен-Жана, где подмостками им служат большие столы, высовываются в окна и, нанося жестами и фразами удары по рухнувшей империи, уподобляются полишинелю, избивающему уже мертвого полицейского.

И славный пес лает в их честь! Он и не подозревает, несчастный, что на него уже готовится нападение, что все их речи – медовые пироги, где скрыт ужасный яд, что они только и думают о том, как бы перебить ему лапы и сломать клыки. Сегодня они прибегают к его

защите и охране; завтра они обвинят его в бешенстве, чтобы иметь предлог уничтожить его.

– Не надо нам изгнанников, – зарычал Гамбетта, когда было произнесено имя Пиа[138].

Но сам он предложил Рошфора, за которым нет социалистического прошлого, с чьим именем связана только борьба с Баденге, но вовсе не с Прюдомом[139].

У них свой план: свести его на нет, скомпрометировать, если им это удастся, а затем, лишенного популярности, снова бросить в руки толпы.

А пока что эта популярность будет служить им прикрытием.

– Рошфор! Рошфор!

Черт возьми, он еще, пожалуй, обратится в нашего врага!

Двери тюрьмы Пелажи открылись перед заключенными, и вчерашние пленники, с автором «Фонаря» во главе, шествуют по бульварам с красным цветком в петлице.

Провожаемые криками «ура», они входят под своды.

Кончено, Рошфор – их заложник! Все эти Гамбетты и Ферри задушат его трехцветным знаменем.

5 сентября

Сегодня, 5 сентября 1870 года, во второй день Республики, все мое состояние равняется двадцати су.

У Ранвье[140], Уде и Малле – тридцать су на троих.

Мы все перед ратушей, куда каждый пришел инстинктивно, не сговариваясь с другими.

Несколько бунтарей вроде меня, да несколько ремесленников, как мои товарищи, бродят под дождем, подходят друг к другу и говорят о социалистическом отечестве, которое одно только и может спасти отечество классическое.

Мы совсем промокли. Особенно продрог Ранвье: ботинки у него дырявые, и ноги его мерзнут, шлепая по грязи.

А он так кашляет!

